

# ЗИНАИДА ГИППИУС

НАДЕНЬКА И ЕЁ  
ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ

# Зинаида Николаевна Гиппиус

## Наденька и её возлюбленный

### Аннотация

«Мы сидели, со старинной моей приятельницей Ириной Александровной, в кафе. Разговорились о давнем: вспоминали Петербург...

– Многое уж забыто, – сказала она. – Да и хорошо, что забыто. Один случай, например... сама не знаю, почему вдруг пришел на память. Так была рада его забыть. Никому не рассказывала – никогда...»

# Зинаида Гиппиус

## Наденька и её возлюбленный

Мы сидели, со старинной моей приятельницей Ириной Александровной, в кафе. Разговорились о давнем: вспомнили Петербург...

– Многое уж забыто, – сказала она. – Да и хорошо, что забыто. Один случай, например... сама не знаю, почему вдруг пришел на память. Так была рада его забыть. Никому не рассказывала – никогда.

Я попросил: расскажите мне.

– Пожалуй. Теперь все уж равно. Столько времени прошло, а ведь каждый год – как век! Да и пространство... на каком аэроплане, на какой ракете мы могли бы сейчас долететь до Петербурга? Легче на луну. Только уговор: обещайте, когда я кончу, сказать, что вы сделали бы на моем месте? Придумали бы совет? Я сказала, что могла. Настоящего совета не сумела придумать. Казалось, тогда... А, может быть, иначе надо было человеку помочь? Со стороны легко требовать душевного героизма. Не знаю, впрочем... Вы сами рассудите. Обещаете?

Я согласился. И вот что рассказала мне моя собеседница.



«...Было это во время войны: в самом, кажется, начале шестнадцатого года. Слышу как-то телефонный звонок. Взволнованный женский голос, незнакомый. „Вы такая-то?“. Отвечаю – да. Без удивления, потому что, вы знаете, в Петербурге я была довольно известна, и незнакомые люди нередко со всякими делами и разными историями ко мне обращались.

На мой вопрос слышу какой-то лепет, в котором сначала не могу разобраться. Но затем начинаю понимать. „Вы меня не знаете, – полусшепчет женский голос, – но я вас знаю. Не лично знаю, но все равно. У меня, поймите, никого нет, некому сказать... а сказать нужно. Мне „пойти некуда“, ну вот, как у Достоевского. Он же говорит, что это нельзя, чтоб человеку было некуда пойти. Я хочу к вам пойти, вы все поймете. Невозможно, чтоб не поняли. Об имени не спрашивайте, вам и не важно. Дайте мне прийти к вам, но к вам одной“.

В конце концов и такая просьба о свиданье для психологического рассказа о своих делах не была для меня новостью. Помню встречи с людьми „последнего отчаяния“, иногда минутного, – но подлинного; с верующими в свое вот-вот самоубийство... Быть может, и вера эта была минутная, ничего бы и так не было, но я, по мере сил, старалась придержать такого человека: методами разными, – надо было только до-

гадаться, какой для кого метод более годен.

Женские „отчаяния“ случались обычно любовные. Вероятно, и у новой телефонной незнакомки моей что-нибудь в этом роде. Разве ей нужно кому-то о себе рассказать, и некому, – пусть придет. И я назначаю ей день и час, – с перспективой, предчувствуя, что история будет длинная.

Пришла ко мне скромная, интеллигентного вида барышня или дама. Видно – молодая, и даже была бы хорошенькая, только очень уж измученное лицо, бледное, с провалившимися глазами. Одета прилично, даже модно; и что-то в ней не петербургское.

Я думала, она долго будет стесняться, но она сразу начала говорить: по-видимому, действительно, намолчалась, измучилась, и уж ей все равно, что она в первый раз меня в лицо видит. Но я тотчас заметила, что она, при всей своей взволнованности, человек нормальный, т. е. не „психопатка“.

– Вам безразлично имя, а для удобства – я буду для вас Наденька. Родом из-под Москвы; а была в Риге школьной учительницей. Там я встретила случайно с одним... военным здешним, – генштабистом. Он меня... я полюбила его и теперь живу с ним здесь. Ничего не могу сказать, он хорош со мной, любит... а, главное, я люблю его без памяти. Ну, не совсем без „памяти“ (улыбнулась жалко), а то бы – что мне!

Только так, что свою жизнь за него хоть сто раз отдам. Но вот здесь и начинается...

Она остановилась, передохнула, подняла на меня довер-

чивые глаза, – в старых повестях сказали бы „честные“ глаза. Я молча ждала продолжения, еще не понимая, в чем дело. Хочет ли она, чтоб он женился на ней, что ли?.. Наденька имела вид курсистки; вряд ли держится таких „предрассудков“ ...

И точно, дело оказалось гораздо сложнее и серьезнее. Говорила Наденька просто, рассказывала живо, образно и убедительно. Умела наблюдать и была, вероятно, не глупее своего возлюбленного.

– Я думала, что знаю его... И все о нем знаю...

Оказывается – нет. Возлюбленный не откровенничал, конечно, с ней, но вряд ли давал себе большой труд вести себя так, чтоб она не могла кое-чего заметить. Она заметила, стала следить, – „о, против воли!“ – и теперь знает: этот офицер, – „он очень видный, – спешно прибавила Наденька, – я сказала, академик“, – он и несколько его товарищей, часто у них бывающих, в сношениях... Тут Наденька остановилась, задохнулась, но преодолела себя и закончила почти спокойно:

– В сношениях с офицерской германской группой. Есть такая, не все знают. Даже никто почти не знает. Так вот эти, наши... И „он“, главное... Он у них даже главный... Они постоянно... Вы понимаете? Понимаете?

Я, конечно, понимала. Шла великая война. У нас, у России несчастной, цепь необъяснимых неудач. По Петербургу ходили всякие слухи. Обвиняли в „предательстве“ глав-

ным образом Гришку Распутина, а то даже императрицу. Впрочем, среди интеллигенции был и слух, очень смутный, правда, насчет какой-то могущественной группы германских офицеров, тайной.

Но я начинала понимать и Наденьку. Теперь, после войны, уж не говоря о стране советов, нигде такая Наденька, пожалуй, невозможна. Она его любит, он ее любит, не все ли теперешней равно, чем он там занят, по мужскому своему положению? Но подумалось и тогда: волнение Наденьки – не страх ли за него, что попадется?

Это у меня мелькнуло, но тотчас же Наденька, будто угадав, заговорила дальше:

– Вы до конца меня поймете. Я его люблю, всегда буду любить, а он продает... Я на деньги его смотреть не могу. Мы прежде часто с ним говорили насчет убеждений. Что ж, я, я верю, он передо мной не скрывал, что у него давно убеждения социалистические. Но ведь сейчас война. И деньги... Я сама не знаю, но я этого не могу. Что мне делать? Ничего, ничего не сумею сказать ему, да и как посмею? Никто не знает и не узнает, они очень сильны. И у них идет. А я люблю его. Боюсь одного только: чтоб не догадался, что я вижу. Так дальше, – смотреть, и ничего, – тоже не могу.

– Постойте, – начала я, но она меня перебила:

– Вы, может, скажете – уйти от него... Думала уж я об этом. Но уйти – куда? Он найдет меня, будет спрашивать; знает ведь, что люблю. Что скажу? И уйти, чтобы только са-

мой не видеть, а дело-то будет продолжаться?.. И вдруг еще он подумает, что я донести на него могу, – вдруг вскрикнула она и разрыдалась. – Я! Я!

Впрочем, быстро успокоилась и совсем тихо прибавила:  
– Нет уж. Если уйти, так совсем...

Признаться, я этой Наденьке сразу ничего не нашла сказать. Она меня запутала, хотелось сообразить, и я стала расспрашивать о подробностях. Уверена ли она, что не ошибается? Может быть, ее догадки пустое дело, и раз она этого человека любит, надо в него больше верить. Словом, разные банальности пока что. Но тут вышло гораздо хуже.

– Ах, разве я не хотела верить, не верила в него до конца? – вскрикнула Наденька горестно. – Не хотела ослепнуть, оглохнуть лучше! Вы послушайте, сами судите, можно ли сомневаться...

Я слушала, слушала подробный, образный рассказ (очень, видимо, хотела Наденька открыть себя до конца, передать мне свою правду; перед мелкими черточками жизни не останавливалась), и, слушая, вдруг я почувствовала, как у меня похолодели щеки. Я узнала ее возлюбленного! И в эту минуту, правду сказать, забыла о Наденьке. С яркостью вспомнился человек, – я с ним была знакома, встречала его несколько раз на каких-то интеллигентских собраниях. Высокий, плотный, видный, улыбающийся. Еще ярче вспомнилось и все, что я о нем знала, что слышала. В кругах левой интеллигенции он считался близким другом, тесно с ней со-



прикасался. Писал (под строгим псевдонимом) статьи в ее журналах. Вот что я знала, а слышала от его же „друзей“ и еще кое-что: перед самой войной возникло среди них глухое подозрение, что он не совсем „верен“; тогдашним языком говоря – в „провокаторстве“ замешан. Темный этот слух хотя и скрывался, но был так упорен, что кое-кому было поручено его проверить. Война помешала, кажется; оставила дело в прежнем положении.

А теперь... Я вспомнила, наконец, про Наденьку. Она сидела передо мною, все еще говорила, тихо плача и сморкаясь. Такая это была простая русская девушка, самая дореволюционная, с незамысловато-честными понятиями и о родине, и о войне, и о правде, и даже о любви. Судьба не пожалела ее, запутала. Надо что-то „сделать по правде“. А что? Спросить не у кого, – одна. Если б не одна... ведь ответ-то есть, должен быть!...».

\* \* \*

...Тут Ирина Александровна с полуулыбкой взглянула на меня: «Вы обещали: скажите, что вы бедной Наденьке посоветовали бы? Как ей „по правде“ поступить, по ее правде, по ее душе? Какие бы слова вы ей сказали?».

Я не знал, немного рассердился: «Кончите сначала. Вы сами что сказали?».

– Я уж призналась, что не сумела ответить. Кто бы сумел?

Но вот, слушайте дальше.

И моя собеседница продолжала:

«Наденьку я прежде всего усадила рядом с собой, на маленький диванчик, обняла за плечи: „Ваше положение трудное: что скрывать – по-моему, безвыходное. Полувыходы есть, а полного нет. Все полувыходы начинаются, однако, со слова: **уйти**. Надо, значит, из них выбирать. Вы говорите: лучше „совсем“ (то есть умереть?), потому что если не „совсем“, то **куда** уйти? **Как** скрыться от него? И жить внутренне (а, может быть, и внешне?). Это правда. Этот последний полувыход гораздо труднее, тяжелее, больше сил требует. Но у вас их бы хватило, пожалуй, если бы вы поняли и не захотели смертного, – легкого. К тому же он сомнителен“.

– Почему? – шепнула она, не понимая.

– А вот почему. Вы, я думаю, неверующая? И соблазняет вас смерть тем, что вы уж ничего ни видеть, ни чувствовать не будете? Но это так же не доказано, как обратное. Тут тоже вера, а вера всегда надвое. А потом я не знаю, легче ли решаться на что-нибудь с сознанием своей слабости (легкое „уйти“), или с сознанием силы („уйти“ – трудное). Но это вы решите сама.

– Я? Сама?

– Да. За другого нельзя. И если вы, скажем, выберете смерть и пойдете сейчас от меня, чтоб в Фонтанку броситься...

– Думала как раз... – прошептала она, но я продолжала:

– ...Ни жеста не сделаю, чтоб вас удержать. Только – мне кажется почему-то, очень кажется сейчас, что вы **ЭТО** не выберете. Другое „уйти“ выберете. И так я верю – доверяю вам, что вот смотрите...

Я встала, взяла из ящика 4 тюбика хлорала.

– Фонтанка – нехорошо, а возьмите это, для свободного выбора. Даю – и не боюсь; для себя-то уж выбор ваш знаю.

Вот и все. Она взяла. Мы поцеловались и расстались. Да не скрою, что я, на прощанье, не утешала ее: не сказав, конечно, что знаю „его“, твердо повторила: не любите его, но ни на что не надейтесь; помните, человек этот, вероятно, по природе изменник; таким и останется. Говорю без суда. А любовь всегда „вопреки“. Любите так – любите, но не обманывайтесь».

\* \* \*

– Что же потом? – удивился я. – Какой же это конец? Неужели так и неизвестно, что дальше было с Наденькой? А «он», которого вы знали и узнали?

– Его я видела. Самое любопытное наше свиданье – было последнее. Уже в двадцать пятом году. Вы знаете, лично я в эти первые годы никаких особых страданий внешних не перенесла, – только чужие видела и как еще видела! Но, наконец, попала в тюрьму. Месяцы шли без допроса. А когда привели – не угодно ли, мой знакомец! Наденькин возлюб-

ленный! Я даже рассмеялась. Лицо у него отекло, глаза тяжелые, косят. Ну, поговорили, – как в этих местах принято, – а под конец я не утерпела, – и Наденьку помянула. Он не ответил, конечно, только весь перекосялся; уж не глаза, а все отечное лицо. Пробрало-таки. Но я в его натуре не обманулась. Через год и с этими «друзьями» что-то неладное у него вышло, – расстреляли.

– А Наденька?

– Она, друг мой... Она свой полувыход так хорошо устроила, как я ей не сумела посоветовать. Она сестрой на фронт ушла; а потом в белой армии, в Ростове, от тифа погибла. Хлорал мой не понадобился. По «правде» своей все-таки что-то сделала? Пойдемте, однако. Мы здесь засиделись.